АБОВЯН 1955

Егише ЧАРЕНЦ

На Масис

Поэма Е. Чаренца «На Масис»—своеобразный поэтический домысел о последней ночи Хачатура Абовяна накануне его исчезновения. Чаренц рисует Абовяна подводящим итог своей жизни и деятельности, Абовян в изображении Чаренца лишен «хрестоматийного глянца»—это живой, страдающий человек, переживающий невзгоды родины, как свои собственные, мучающийся от кажущейся бесплодности своей борьбы за ее лучшее будущее. В поэме Е. Чаренц использовал одну из многих версий о гибели Абовяна—его уход на гору Арарат (Масис). На русском языке поэма публикуется впервые.

Он вышел в час, когда Восток алел.
Прикрыл тихонько двери за собой,
в последний раз свой домик оглядел
и зашагал бегущей вдаль тропой.
Заря едва-едва лишь занялась,
холодный воздух влажен был и сиз,
но различал на горизонте глаз
рассветной мглой окутанный Масис...
. . . . . .
Всю ночь не спал. Копался в дневниках,
листал страницы рукописей, книг,
записок дерптских,—сколько было их,
шуршащих и трепещущих в руках,—
как жизнь его, и сложных, и простых
сумбурных, беспорядочных порой,
вобравших все, что мозг его постиг,
рисующих с такою полнотой
величье мыслей, рвущихся в века,
и планов, зародившихся едва...
Кому он передаст их? Чья рука,
сорвав запрета пыльную печать,
живые эти, страстные слова
по всей земле заставит прозвучать?
А письма, пожелтевшие от лет,
в замысловатой готике письмён,—
они ль не бурный путь его, не след
труда и дум, борьбы, что вынес он?!
Бесплодный труд, бесплодная борьба!
Опустошенность сердца и ума,
в грядущем тьма и в настоящем тьма,—
бесцельность будней—вот его судьба!
Так он сидел в плену забытых строк,
давнишних писем груды вороша,
и воскрешая, за листком листок,
все, чем кипела некогда душа.
Он видел их во множестве вокруг,
листов, листочков, малых и больших,
носящих отпечатки чьих-то рук,—
что вызвало, что наполняло их?
Сужденья важных, чопорных мужей
об отвлеченном, об иных мирах;
тупые догмы выспренных ханжей,
велящие пред богом пасть во прах
и следовать покорно, день за днем,
приличным азиату с давних пор
всевышним предначертанным путем,—
спокойно, кротко, не вступая в спор,
не подрывая вековых основ
и не смущая бреднями народ:
пускай себе, как испокон веков,
чтит господа и гнется на господ!
Но в связках писем, выцветших давно,
сухих и пыльных, как листва дорог,
попалось на глаза ему одно—
голубоватый маленький листок.
Подобно капле утренней росы,
где мир, как будто в зеркале предстал,
пленяя блеском солнечной красы,—
так он внезапно сердце взволновал.
Припомнились далекие года,—
чужбина. Дерпт... Мечтатель полный сил,
наивный, пылкий юноша тогда,—
он полюбил. Впервые полюбил.
Полумонах, отшельник и аскет,
привыкший чтить суровых правил свод,
в котором что ни строчка, то запрет,—
и чувство, пред которым пламя—лед!
...И вдруг, как сквозь волшебное стекло,
как будто яркой вспышкой озарен,
так ясно, словно часа не прошло,
картину давних дней увидел он.
В сиянье золотых тяжелых кос,
высокий лоб венчающих, как нимб,
с небесным взором, влажным, как от слез,
встал образ юной девушки пред ним:
как первый снег, душа ее чиста;
но, сладостным предчувствием полна,
какой огонь таит в себе она,
нетронутая эта чистота!
..О, как с собой боролся он тогда,
Как было нестерпимо тяжело!
Все скрылось, унеслось. Зачем? Куда?
Он позабыл. Что было, то прошло.
Остался только голубой, как дым,
как утренней звезды далекий свет,
листок бумаги с краем золотым,
прощанья и прощенья грустный след.
Листок бумаги... Тонкий вензелек,
оттиснутый печаткой на кольце,
и несколько сентиментальных строк
с плохим четверостишием в конце...
И это все.
В раздумье погрузясь,
не замечая времени, сидел,
рассматривал готическую вязь...
Потом очнулся. Разорвать хотел,
куда-нибудь забросить, скомкать,
смять...
Но передумал. Бережно сложив,
засунул в письма старые опять;
с трудом теченье мыслей изменив,
рукою по глазам провел слегка
и вновь ушел в листание бумаг.
Так он листал до той поры, пока
за окнами не начал таять мрак:
то близился назначенный им час.
Тогда он поднялся, чтобы достать
из ящика заветную тетрадь
и заглянуть в нее в последний раз...
Не шевелясь, глядел он на тетрадь.
Припоминалось, будто сквозь туман:
дородная, в старинном платье, мать...
Отец... В зубчатых башнях—Ереван...
Потом открыл потертый переплет,
устало пробежал листок—другой,
сперва бесцельно, поверху... Но вот,
захваченный пленительной строфой
сложенной им когда-то баяти,
втянулся в чтенье, и уже не мог
противиться певучей силе строк,
и все читал, забыв, что близок срок,
что скоро день и должен он уйти,
оставить эту книгу, этот дом...
Две—три поправки внес карандашом,—
мгновенно, по привычке отмечал
неверный знак, неточный оборот,—
и все же непрерывно ощущал,
как в недрах существа его растет
неясная и грозная в своем
упорстве мысль... Он все еще сидел,
склоненный над тетрадью, за столом...
И вдруг, пройдя невидимый предел,
как вражеский клинок обнажена,
возникла, наконец, пред ним она,
безжалостная эта мысль: о чем
поведать он хотел своим трудом?
Не попусту ль растрачивал свой дар,
свое уменье, свой душевный жар?
А если то, о чем он пишет тут,—
его мечта, певучий этот труд,
которому так щедро отдает
свой гений он, кровь сердца своего,—
тропа, что к бездне край его ведет,
ошибка, бред,—и больше ничего?
Не первый раз в сомнениях глухих
терялся он. Но стоило опять
взять в руки эту старую тетрадь,—
и к сердцу подступало в тот же миг,
мучительным мечтам наперекор,
большое, несравнимое ни с чем,
слезами застилающее взор,—
какая-то тоска и, вместе с тем,
восторга дрожь и нетерпенья пыл...
О, сладкие часы, когда душа
бунтует и кипит в избытке сил,
и мысли, словно вырваться спеша,
взволнованно теснятся в голове,
перо торопят, не хотят отстать,
и в ревностном стремленье словом стать
трепещут, как стрела на тетиве...
О, боже, все, что выстрадано им,—
итог раздумий долгих и тревог,—
неужто наважденье, горький дым,
подхваченный теченьем коробок,
блуждавший поначалу вкривь и вкось,
и все неотвратимей, все быстрей
несомый мутной круговертью дней?
Иль жизнь его—бессмысленный вопрос,
начертанный тростинкой на песке?
Но нет! Его творение не лжет!
Нет фальши в этом чистом языке,
певучем, как журчанье вешних вод!
Подобный песне, голос книги той
скалу извечной косности пробьет,—
и хлынет благодатною струей
родник добра и знания в народ!
О нет, язык речей его не лжив,—
вот он рокочет паводком вокруг...
И Хачатур читает, громко, вслух,
читает, все на свете позабыв...
И снова—подозрения укол...
Не в силах беспокойства превозмочь,
вернулся к предисловию, прочел
всего две—три начальные строки,
и вдруг, вскипев, хотел отбросить прочь,
швырнуть в огонь иль разорвать
в клочки...
Но, зыбкий и неясный, в этот миг
знакомый образ перед ним возник:
учитель. Он узнал его черты,
прощающий и непреклонный взор,—
о, сколько в нем светилось доброты,
как беспощаден был его укор!
Проникнув взглядом в глубь его души,
легко коснулся рукописи он,
промолвил тихо: «Полно, не спеши!»
И голос был, как отдаленный звон,
как слабый отзвук чьих-то похорон...
Вот так же для него он прозвучал
однажды, по дороге на Масис,
над пропастью, средь неприступных скал,
когда чуть было не столкнул он вниз
проводника, опасной крутизной
приведшего их к бездне ледяной...
Спокойный голос друга и отца,
как и тогда, его он остерег
и вновь призвал: «Будь верен до конца,
судьбе, которой сам себя обрек!»
И он не изменил, не отступил...
Поспешно встав, заветную тетрадь
на дно шкатулки опустил опять,
бумаги, письма старые сложил;
запоминая, скорбно оглядел
любую мелочь, каждый уголок,
потом пальто потертое надел
и, чуть пригнувшись, вышел за порог.
Осенний день вступал в свои права,
и солнце из-за облачной гряды
уже струило пурпур на сады.
На горизонте, видимый едва
сквозь серебристый утренний туман,
стоял Масис, лучами осиян,
величественный, дальний, но родной...
Измученный ночным своим трудом,
полубольной, с тяжелой головой,
с тяжелым сердцем покидал он дом.
Но, свежестью бодря и тишиной,
в лучах зари рождающийся день
смахнул с души бессонной ночи тень
и память о былом, как сон дурной,
рассеялась, оставив за собой,
как все, что было и чего уж нет,
не горечи, но светлой грусти след.
И твердым шагом, словно человек,
которого большое дело ждет,
дорогой, полюбившейся навек,
не торопясь, он двинулся вперед,
туда, где уж однажды побывал,—
в суровый край обледенелых скал,
где, влажными туманами дыша,
стоит Масис—Армении душа,
чтоб на его вершине снеговой
забыться сном и обрести покой.

Перевела с армянского
Эм. АЛЕКСАНДРОВА.

Художник Ованес Зардарян уже многие годы работает над воплощением образа Хачатура Абовяна. Широко известно его большое полотно, изображающее великого армянского просветителя с крестьянским мальчиком. Сегодня мы публикуем репродукцию с написанной гуашью последней работы О. Зардаряна, посвященной Абовяну. Картина, которую художник назвал—«Хачатур Абовян на вершине Арарата», выполнена им по заказу редакции газеты «Коммунист».

О работе над сценическим образом Хачатура Абовяна

Год тому назад мне пришлось стать перед задачей, правда, очень почетной, но и чрезвычайно трудной: осуществить сценическое воплощение образа Хачатура Абовяна.

Есть некое трепетное волнение, знакомое всякому актеру, когда ему предстоит начать работу над новой ролью, особенно, если эта роль ответственная, определяющая собой спектакль в целом. В данном случае задача осложнялась тем, что предстояло перевоплотиться не в вымышленный образ, а в конкретную историческую личность, да еще в какую—в зачинателя целой эпохи в культурной (да и в политической) жизни армянского народа.

В моей прошлой актерской практике почти не было подобного случая и я не имел достаточных навыков, которые помогли бы мне сразу же найти правильный путь в работе над образом конкретного исторического лица, к тому же отделенного от нас не многовековой перспективой, а всего немногим больше одного столетия. Ведь еще не так давно по улицам Еревана ходили младшие современники Абовяна, иные из которых были его прямыми учениками. У нас, в театре им. Сундукяна, и до сих пор работает сотрудник мебельного цеха, который, конечно, не был и не мог быть учеником Абовяна, но учился в той самой школе и в тех самых классах, в которых преподавал великий просветитель.

Да разве один этот старик! Ведь нет армянина, который не носил бы в сердце какой-то свой, всегда драгоценный, любимый, интимный образ великого соотечественника.

Подлинный, реальный облик живого Абовяна мало и плохо изучен.

И вот в этих условиях предстояло воплотить его на сцене, и так, чтобы каждый нашел в тебе того самого Абовяна, который живет в его сердце и с которым он так крепко сжился.

В дальнейшем задача еще более осложнилась. При первых же попытках изучения личности Абовяна выяснилась исключительная многогранность и удивительная противоречивость его натуры. Моменты большого волевого под'ема сменялись у этого удивительного человека состоянием уныния и даже какой-то апатии, беспощадный к врагу борец уживался в нем с сентиментальным добряком, любовь и ненависть были неразлучными побратимами в его большом сердце, мудрец и младенец без устали соревновались в его пылкой душе.

Актеру недостаточно понять образ. Актер должен ощущать его физически, осязать его, впитать его в себя и, в конце концов, сам раствориться в нем. В данном же случае совершенно необходимо было перво-наперво полюбить Абовяна—не той немного абстрактной почитательской любовью, которая была у меня, как у всякого армянина, а любовью живо ощутимой, любовью всем сердцем, любовью действенной и творческой.

В этом деле, как и во всем процессе работы, мне пришли на помощь автор пьесы Грайр Мурадян и режиссер-постановщик Л. А. Калантар. В повседневной мучительной, но и сладостной работе, когда мы, исходя из конкретных данных пьесы и имеющихся разнородных сведений и материалов, по кирпичикам складывали и строили будущий сценический образ, зрела, ширилась и углублялась и эта любовь.

Путь был очень нелегок. Не раз и не два опускались руки, казалось, что ничего путного не выйдет.

И когда, наконец, любовь, о которой я только что говорил, полностью созрела, я почувствовал, что главное преодолено, что роль у меня получится.

К этому времени выкристаллизовались и так называемая сверхзадача и сквозное действие роли, мыслившиеся как беззаветная и бескомпромиссная борьба за общественное благо, хотя бы ценой жизни, выкристаллизовались и основные черты образа в пределах, обусловленных данными пьесы.

По свидетельству современников, в том числе выдающихся людей своего времени — как в России, так и за границей, Абовян обладал удивительной способностью сразу заинтересовать собой тех, кто имел случай встретиться с ним, или же сразу становиться центром всеобщего внимания, если он бывал в том или ином обществе, даже в «изысканном».

Это и есть то, что присуще далеко не многим, и то, что называется личным обаянием.

Большого и длительного труда стоили наши поиски элементов, из которых складывается это обаяние, и наши усилия пропитать ими сценический образ.

Теперь уже для меня совершенно ясно, что не найди мы способа хотя бы в малой степени передать это абовянское обаяние, наши усилия могли бы, пожалуй, оказаться тщетными.

Можно много и долго рассказывать о том, как мы работали над Абовяном, и было бы это, мне кажется, очень поучительным, но это уже область специально театральная.

Если наши усилия привели к каким-либо положительным результатам, то пусть это будет нашим скромным вкладом в эти дни, когда армянский народ отмечает 150-летие со дня рождения своего великого сына.

Гегам АРУТЮНЯН,
заслуженный артист Армянской ССР.

Сцена из спектакля «Хачатур Абовян» в театре имени Г. Сундукяна. В роли Х. Абовяна—Г. Арутюнян.
Фото А. Экекяна.

ПЕВЕЦ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

В. ПАРТИЗУНИ

Цель жизни человека—служение Родине, защита ее интересов. «Жизнь отдай, душу свою, но Отчизны твоей врагу не отдавай!»—так писал и всю свою жизнь этим руководствовался великий армянский просветитель-демократ, завоевавший вечную любовь народа, — Хачатур Абовян.

Все творчество Абовяна проникнуто горячим патриотизмом, чувством национальной гордости. Он высоко ценил достоинства армянского народа, созданные им культурные ценности. Выступая против европейских буржуазных историков, которые «бессовестно нападали» на армянский народ, «тем самым давая исход накопившемуся яду» колонизаторов, Абовян, ссылаясь на созданные армянским народом культурные ценности и памятники зодчества, писал, что армянский народ — «это достигший собственными усилиями этой степени славы и величия, мирный, кроткий, трудолюбивый народ, жестокой судьбой брошенный на скрещении путей великих и бесчисленных завоевателей». Но как бы ни малочисленен был он в сравнении с могущественными врагами, продолжает Абовян, никогда не ощущал он недостатка в мужестве и бесстрашии, никогда не бывал подавлен его боевой дух в борьбе за независимость и свободу.

Пригвождая к позорному столбу лишенную чувства национального достоинства, враждебно относящуюся к армянской культуре и языку, стремящуюся лишь к личной выгоде и карьере «сребролюбивую и пресмыкающуюся по-собачьи» армянскую буржуазию, Абовян выставлял требования раскрыть перед народом овеянные славой страницы нашей истории, любить родину и родной язык, воспитать готовность без колебания жертвовать жизнью во имя свободы родной страны. Одновременно с этим Абовян — великий гуманист и патриот — сурово осуждал национальную ограниченность и нетерпимость, с любовью отзывался и о других народах, искренне восхищаясь лучшими их чертами. Это — характерная черта истинного, народного патриотизма, точно так же, как национализм — это идеология эксплуататорских классов.

Самым важным и главным для Абовяна был человек, независимо от того, сыном какого народа он являлся, на каком языке говорил и какую веру исповедовал. «Будь он тюрок, иль армянин, иль другой нации, — не божьего ли подобия все они, схожие с нами обличием?!» — говорит Абовян. Лучшие человеческие черты можно встретить у всех народов, и Абовян видел эти черты и у живущих бок о бок с армянами кавказских народов, и у проживающих за тысячи миль от Армении негров, индусов и аборигенов Америки. Исходный пункт у Абовяна выражен был очень определенно: он ненавидел тиранию во всех видах и выступал в защиту человека труда, вообще. В своем «Открытии Америки» Абовян с глубоким возмущением осуждал европейских колонизаторов, выступая в защиту угнетаемых и истребляемых местных племен Америки.

Абовяна, певца дружбы народов, прежде всего характеризует его любовь к России. Пламенная любовь Абовяна к русскому народу органически переплетается с глубокой признательностью к русскому народу. Армянский народ, изнемогавший под кровавым игом персов, стоявший перед угрозой полного физического уничтожения, спасенный народом русским, и связавший с ним свою судьбу, стал на новый путь исторического развития. Дружба русского и армянского народов окрепла и закалилась в совместной борьбе против общего врага. Вступление русского войска в Ереван превратилось в праздник всенародного ликования. Говоря словами самого Абовяна, «и тюркам и армянам казалось, что сам бог спустился к ним». Обращая слова сердечной признательности спасенного народа к русскому народу-спасителю, Абовян восхвалял «храбрость, великодушие, добросердечие и человеколюбие» русского народа.

С проницательностью человека, обладающего широким историческим кругозором, Абовян стал защитником и поборником русской ориентации армянского народа, правдивым выразителем заветных чаяний и стремлений родного народа, первым крупным представителем идеи дружбы русского и армянского народов в истории армянской литературы. Великий национальный поэт Ованес Туманян совершенно обоснованно считал «Раны Армении» выражением национальных чувств армянского народа, «могучей апологией и гимном русскому народу и его величию». Персонифицируя в «Ранах Армении» реки Волгу и Зангу, Абовян выражал устами Зангу чувства любви и верности армянского народа «сестре-Волге», то есть русскому народу.

«Бесстрашный дух русских освободил нас», — писал Абовян и от всего сердца призывал спасенный «могучей десницей» русских от физического уничтожения, армянский народ на веки веков сохранить дружбу с великим русским народом: «Да будет у нас навек неразрывной эта связь, навек священной эта любовь!» — завещал великий армянский патриот.

Высоко ценил Абовян и братскую дружбу армянского, грузинского и азербайджанского народов. Сам он сыграл огромную роль в деле упрочения этой дружбы. Прекрасно знакомый с историей, жизнью, бытом и культурой грузинского, армянского и азербайджанского народов, Абовян подмечал много общего в их жизни и исторических судьбах. В многочисленных произведениях Абовян посвящал волнующие страницы братской дружбе азербайджанского, грузинского и армянского народов. Имея в виду именно близость этих трех братских народов, и говорил так часто Абовян: «наши народы», «мы, народы Азии».

Абовян, долгие годы учившийся и работавший в столице Грузии—Тифлисе, вблизи ознакомившийся с жизнью грузинского народа, завязавший дружеские отношения со многими грузинскими деятелями и, в частности с передовым мыслителем Зубалашвили, в своем романе «Раны Армении», при помощи символов—рек Куры и Зангу, нарисовал волнующую картину дружбы грузинского и армянского народов. Великого гуманиста и вдохновенного певца дружбы народов глубоко взволновали тяжелые события, имевшие место в жизни братского грузинского народа. С горячей любовью и сочувствием грузинам описывал он, как во время нашествия «кровавого скопца»—Ага-Мамадхана персы угоняли в рабство население, вырывая «сына из об'ятий родителей» и уводя «жену с супружеского ложа».

Особое место в творчестве Абовяна занимают произведения, посвященные дружбе армянского и азербайджанского народов. Стихотворение «Злосчастная Сона...» и чудесный рассказ «Тюрчанка» проникнуты этой идеей. С этой точки зрения рассказ «Тюрчанка» занимает исключительное место в литературе армян и других закавказских народов, как первой половины XIX века, так и последующего периода. Абовян видел, как армянский и азербайджанский крестьянин, с одинаково «опаленным солнцем загорбком», живут и работают бок о бок, относясь друг к другу, как родные братья. То обстоятельство, что персы и азербайджанцы были единоверными, не скрывало от проницательного взгляда Абовяна той истины, что иго персидской тирании было непереносимо тяжким одинаково и для армянского и для азербайджанского народов. «Сыны одной и той же земли, одной и той же воды», армяне и азербайджанцы — уроженцы Еревана — близкие и родные друг другу, у них одни и те же горести и радости, один и тот же общий враг. «Тюрки — уроженцы Еревана, — писал Абовян в «Ранах Армении», — которые выросли вместе с армянами и относились к ним по-братски, проклинали Сардара, Гасан-хана, отплевывались, скрежетали зубами при виде кзылбашей, и, притаясь, твердили про себя: «Господь милостивый, когда же раскроется дверь милосердия твоего и мы освободимся от руки этих проклятых кзылбашей?! Ибо, будучи земляками, коренными жителями одной и той же страны, не желали они и дня служить им, и много раз, об'единившись с армянами, выгоняли вон кзылбашей, но те силой оружия вновь врывались, овладевали страной».

Абовян, которому известно было, как стремились армянский и азербайджанский народы перейти под протекторат России, видел, следовательно, и то, что эти два народа, об'единив силы, боролись против персидского ига. Характерно, что враг персидской тирании, восставший против нее, партизан Агаси был любимцем и азербайджанского народа.

Абовяна глубоко возмущали религиозная нетерпимость и фанатизм. Он считал, что религия раз'единила людей различных народов, подставила религиозные отличия вместо человека и человеческого, стала причиной различных предрассудков, фанатизма, «вражды и ненависти». Это неестественное, искажающее облик человека положение вызывало глубокую скорбь у великого гуманиста, проповедника дружбы народов. Осуждая религиозный фанатизм и вызванные им несчастья («Злосчастная Сона...»), Абовян мечтал о наступлении таких времен, когда человек освободится от всего этого и проникнется любовью к себе подобным. «...Ах, ах, когда же спадет повязка с наших глаз?! — с горечью размышлял Абовян. — Когда же разорвется пелена, слепящая и затемняющая нашу мысль, чтоб мы любили друг друга, принимали друг друга, чтоб были у нас, как у детей одного отца, одно сердце, одна душа, одна воля, одно место и одно кладбище в нашем мире?!..»

Наиболее важным здесь является то, что Абовян решительно осуждает религиозный фанатизм и противопоставляет ему волнующие образцы возвышенного гуманизма, дружбы народов, глубокочеловечные отношения между людьми различных вероисповеданий. В стихотворении «Злосчастная Сона...» он выступает в защиту девушки—жертвы религиозного фанатизма, которая поставила человека и человеческие чувства—«силу святой природы»—превыше всяких религиозных различий, по сути восстала против религиозных предрассудков и пала их жертвой. Мысленно обращаясь к скончавшемуся азербайджанцу, Абовян пишет в рассказе «Тюрчанка»: «Мир отлетевшей, душе твоей, о смертный, созданный по образу моему и подобию! Если вера у нас не одинакова, то ведь одинаковы сердца у нас; если и не ходил ты в нашу церковь, то ведь жил ты, ходил под одним со мною небом, на одной и той же земле: если язык твой и не был моим языком, то ведь лицо твое, душа твоя были такие же, как у меня... Если не признавал ты креста и евангелия, то разве не в ту же землю нисходишь ты, в какую суждено сойти и мне? Не окуривают тебя ладаном, не зажигают свечей вокруг тебя, но разве не такие же глаза плачут над тобой, не такое же сердце обжигает горе о тебе? Неужели же я должен, как каменный, смотреть на тебя только потому, что я—христианин?!» Абовян отметал все то, что раз'единяло людей, принадлежащих к разным народам — веру, церковь, различные религиозные обряды — и выдвигал на первый план то, что об'единяло всех.

В произведениях Абовяна много высказываний и о курдах. Он писал о них труды, изучал, собирал и записывал отдельные образцы курдского фольклора. Говоря с любовью о «преданном забвению историей» курдском народе, Абовян называл его народом историческим и чудесным. Весьма характерно, что в отряде Агаси, который ведет героическую и неравную борьбу против персидских захватчиков, есть также курды, которые поклялись до самой смерти стоять плечом к плечу с армянами, вместе бороться против общего врага.

Великий поборник дружбы народов мечтал принести пользу не только родному армянскому народу, но и остальным кавказским народам, разделявшим его судьбу. Говоря словами самого Абовяна, он всегда и в своем творчестве и в педагогической деятельности имел перед глазами «счастье не только Армении, но и остальных закавказских народов». Абовян мечтал о наступлении тех времен, когда возможно станет об'единить живущие в России «разноплеменные народы в одно целое и превратить их в одну единую, связанную братской любовью семью».

Абовян погиб, унося с собой многие из своих больших планов и светлых мечтаний, испытав гонения и глубокую горечь на пути осуществления своих идей. Едва мерцал вдали тот свет, о котором мечтал Абовян, но глубока и непоколебима была его вера в этот свет: «Выйдет же когда-нибудь это солнце, и тогда узнают люди, к чему ты стремился». И это солнце вышло, и под его лучами еще более титаническим и дорогим выглядит образ Абовяна — великого просветителя и писателя, пламенного певца дружбы народов.